

ТИМАРИОН

I. *Кидион*: Тимарион, дорогой! «Ты, ненаглядный мой свет, Телемак, возвратился».[1] Но что до сих пор мешало этому? Ведь ты обещал скоро быть обратно. «Молви, в мечтах ничего не таи, пусть мы оба узнаем»[2], — тебе же говорить со своим старинным и вновь обретенным другом.

Тимарион: Милый Кидион, раз уж ты, стремясь услышать о моих несчастиях, вспомнил творения Гомера, придется и мне в своем рассказе заимствовать стихи у трагических поэтов, чтобы повесть о возвышенных страданиях зазвучала у меня возвышеннее.

Кидион: Говори же, любезный Тимарион, не теряй времени, чтобы не разжигать более моей жажды все услышать, и не томи меня дольше.

Тимарион: «Увы, зачем коснулся, хочешь вновь раскрыть»[3] и «Зачем», как говорится, «влечешь нас от стен Илиона?»[4] Впрочем, начну со слов Еврипида; ведь от них удобно перейти к столь же печальным вещам.

*Нет страшных зол и нету слова их назвать,
Тяжелых бед и мук, сужденных божеством,
Что снести не могут плечи мужа смертного*[5]

*Нет на земле существа злополучнее смертного
мужа*[6]

Поверь, милый друг, если я рассказал бы тебе шаг за шагом, что со мной приключилось, ты, конечно, предпочел бы, чтобы я умолк и вовсе замолчал, хотя сейчас и просишь моей повести.

II. *Кидион*. Начни же, добрейший, свою историю, пока еще ярко светит солнце и не наступил час, когда распрягают быков;[7] ведь мне необходимо покуда светло попасть домой.

Тимарион: Кидион, друг мой, ты слышал от меня еще до того, как я распрощался с тобой, сколь благочестива и угодна богу была цель моего путешествия. Поэтому нет нужды мне повторять, а тебе слушать то, что уже известно. Так вот, с тех пор, как я, простившись с тобою, покинул город, попечение божье не оставляло меня: мне была дарована счастливая дорога, и все на моем пути устроилось как нельзя лучше. Говоря коротко, невзирая на мое жалкое обличье философа, меня принимали по-царски и мне удалось повидать всех друзей, сколько их жило на моем пути: один встречался мне, идя в поле, другой, напротив, возвращаясь домой, третьего о моем приходе уведомил раб, случайно шедший по дороге и неожиданно столкнувшийся со мной или работавший в поле там, где я проезжал; словом, не было никого, кто, увидев меня, не оказал бы мне гостеприимства. Что перечислять богатые и роскошные приемы, раз уже я назвал их царскими?! Из этого ты можешь заключить, милый друг, что некое попечение дарует блага жизни тем, кто избрал удел философа. Ведь и я, ничего не взяв с собой в дорогу и не запасшись ни едой, ни питьем, уже с первой же остановки не был лишен этих благ, и они щедро изливались на меня. На дороге туда все шло так благополучно и счастливо; что же касается моего возвращения, оно было сверх меры горестно и, поистине, напоминало трагедию.

III. *Кидион*: Как же ты, однако, торопишься, друг мой, как ты комкаешь свой рассказ и как летишь вперед, ни на чем не останавливаясь подробно! Еще не покончив толком с путешествием из дому и ни словом не обмолвившись о своей жизни на чужбине, «мыслью обратно летишь»[8] и, точно тебя преследуют собаки или какие-нибудь скифы,[9] спешишь возвратиться в Византий,[10] словно здесь твое единственное спасение и убежище. Успокойся, милый; ничего страшного с тобой не случится, если ты подробнее расскажешь мне все, что с тобой было, и никакой беды не произойдет.

Тимарион: Какая любознательность, друг мой: тебя прямо не насытит рассказами о чужих краях. Хорошо, я начну по порядку, но ты не взыщи, если я позабуду какую-нибудь пролетевшую мимо ворону, камень, попавший коню под копыта, или придорожный терновник, приставший к моей одежде. Так вот, я направлялся в прославленную Фессалонику, желая попасть туда еще до дня святого Димитрия; дух мой был исполнен веселости, тело же бодрости. Праздность, ты знаешь, мне не милее, чем мясо свиньи иудею, [11] а так как заниматься книгами было невозможно и был досуг, я ходил охотиться на берег Аксия.[12] Это—самая большая из македонских рек; она зарождается в Болгарских горах отдельными маленькими ручейками, а затем соединяет их в единое русло и течет, как сказал бы Гомер, «широко и мощно»[13] спускаясь к древней Македонии, к Пелле и вливается по тянущемуся вблизи побережью в море. Об этой местности поистине стоит рассказать: пахарю она дарит различные плоды земли и дает им поспеть, стратиотам [14] — простор носиться на конях, стратигам [15] — еще больший простор выстраивать на разный манер отряды; она словно создана для воинских упражнений, потому что ряды не разрываются — ведь земля совершенно ровная, нигде ни камня, ни кустика.

Всякому, кто бы там вздумал охотиться, стало бы ясно, что Федра, даже не любя Ипполита, с наслаждением носилась бы по равнине, скликала своих собак, гонялась за пестрыми ланями.[16]

IV. Таковы окрестности реки Аксия. Я жил здесь с новыми и старинными друзьями и до праздника с удовольствием предавался охоте, а когда он наступил, воротился в Фессалонику. Обойдя тамошние святыни и храмы и почтив их должным образом, отправился на ярмарку, палатки которой раскинулись за городскими воротами; она начинается за шесть дней до праздника и кончается сразу же после воскресенья.

Кидион: Снова наш Тимарион становится самим собой! Чуть только перестанешь за ним следить, он возвращается к своей старой привычке: признает в рассказе только начало и конец и вовсе пропускает все, что было в середине. Так и теперь, словно забыв мою просьбу и свое обещание, ничего не рассказав по порядку ни о множестве палаток на ярмарке, ни о великолепии, ни о толпах народу и богатстве, ни о продающихся там товарах, он сейчас же перешел от начала к концу, чтобы этим ограничиться. Но «ты не укрылся от взора Атрида, любимца Арея».[17]

Тимарион: Боюсь, милый Кидион, если я послушаюсь тебя и построю свою повесть по твоему вкусу, нам придется провести здесь всю ночь. Но что делать? Просьбы друзей, как видно, закон и мало чем отличаются от велений тиранов. Нельзя не повиноваться им, каковы бы они ни были. Поэтому я начну.

V. День святого Димитрия — такой же большой праздник, как Панафиней в Афинах или Панионий в Милете; [18] это — величайшее македонское торжество, и стекается на него народ не только тамошний, македонский, но всяческий и отовсюду: греки из разных областей Эллады, мисийские племена, населяющие земли вплоть до Истра и пределов Скифии, кампанцы, италийцы, иверы, луситанцы, кельты из-за Альп.[19] Коротко говоря, даже побережье Океана посылает молящихся поклониться этому святому — так велика его слава по всей Европе.

Я же, человек из дальней Каппадокии, не бывавший на этом празднике, а питавшийся только слухами о нем, хотел видеть все, чтобы ничто не ускользнуло от моих глаз. Для этого я устроился на холме рядом с ярмарочной площадью и со своего места без помехи все разглядывал. Ярмарка выглядела так: палатки купцов, выстроенные одна против другой, тянулись ровными рядами; отстоя далеко друг от друга, эти ряды создавали в середине широкий проход для великого множества народа, снующего по ярмарке; взглянув на эти густо застроенные ровные улицы, ты сказал бы, что видишь линии, как по шнуру протянутые вдаль из разных точек.

Под углом к ним шли стройные ряды других палаток; этих было немного, так что они выдавались незначительно вперед и выглядели короткими лапами какого-то пресмыкающегося. Это было любопытное зрелище: палатки, в действительности тянувшиеся двумя рядами, из-за своего расположения и густоты создавали видимость единого тела, ибо перед глазами вставало чудище из ларей, опирающееся, как на лапы, на расположенные под углом палатки. Клянусь твоей дружбой, когда я с холма глядел на этот строй лавок, они представлялись мне многоножкой с длинным туловищем и массой коротеньких лапок на брюхе.

VI. Если же тебя, мой любознательный друг, интересует, что было внутри этих палаток, что я увидел, спустившись с холма, — то представь себе, — все на свете, что создается руками ткачей и прях, все решительно товары из Беотии и Пелопоннеса, все, что торговые корабли везут к грекам из Италии. Немалую долю вносят также Финикия, Египет, Испания и Геракловы столпы, славящиеся лучшими в мире коврами. Все это купцы везут прямо в древнюю Македонию и Фессалонику; города же Евксинского Понта,[20] посылая сначала свои товары в Византий, оттуда украшают ярмарку: множество вьючных лошадей и мулов доставляют из Византии их товары. Все это я увидел позднее, когда спустился. Но еще наверху дивился количеству всевозможных животных и прислушивался к странному многоголосому звуку, доносившемуся до моих ушей: кони ржали, быки мычали, овцы блеяли, поросята хрюкали, лаяли собаки, сопровождавшие хозяев и охранявшие их порой от волков, порой от грабителей.

Вдоволь налюбовавшись на все и насытившись виденным, приверженный к другого рода зрелищам и, в первую очередь, к церковным службам, я направился в город. Праздник святого Димитрия длится три ночи кряду; [21] сонм священников и монахов, образуя два полухория, возносит песнопения во имя мученика. Над этим сонмом поставлен митрополит, руководящий праздничной службой и надзирающий за тем, чтобы обряд ее был исполнен, как это предписано. Служба всенощная и справляется при свечах и факелах, «а как Заря розоперстая вышла из сумерек ранних», [22] говоря словами Гомера, в преддверии храма торжественно появляется эгефон [23] в сопровождении толпы телохранителей; множество всадников и пеших составляют его свиту и участвуют в его выходе.

VII. Так как люди за городскими воротами уже нетерпеливо дожидались эгефона, с любопытством вытягивая шеи задолго до его появления, я также вышел с кучкой зевак. Примерно на расстоянии стадиа[24] от ворот нам встретился торжественный поезд, и это зрелище доставило мне немалое удовольствие. Стоит ли мне описывать окружавшую эгефона ничем не примечательную толпу, состоявшую частью из крестьян, частью из городского люда? Зато его приближенные, подобало бы назвать их строем верных, являли, поистине, дивную картину: все в расцвете юности, исполненные сил, спутники и выкормыши воинственного Арея, [25] украшенные пестрыми шелковыми плащами, кудрявые и белокурые. Взглянув на любого, ты бы вспомнил стих «Одиссеи»: «ведь на затылке» природа «кольцами кудри, как цвет гиацинта, ему закрутила». [26] Арабские иноходцы с гордой поступью были под отроками. Высоко поднимая на скаку ноги, они показывали, что с земли устремляются ввысь; казалось, кони сознают блеск своей богатой, золотом и серебром отделанной упряжи; словно тешась ее красотой, они то и дело изгибали шеи, чтобы взглянуть на это золотое и серебряное сияние. Отроки приближаются размеренным шагом, воинским строем совершая путь, немного позади торжественно выступал эгефон. Его сопровождали и опережали эроты, музы и хариты. [27] Какими словами, милый Кидион, передать тебе осенившие мою душу блаженство и опьянение ликованием?

Кидион: Скажи, друг мой, кто таков эгефон, какого он рода, как ты заметил его на дороге и рассказывай по порядку все остальное, исполняя мою прежнюю просьбу.

VIII. *Тимарион:* Что касается происхождения эгефона, то, судя по тому, что я услышал в ответ на свои расспросы, и по отцовской, и по материнской линии он — потомок славных подвигами и богатых домов. Дед его со стороны отца, обладавший значительным богатством и пользовавшийся известностью, был первым из первых в Великой Фригии. [28] Так вот, старинные предания, или предания о нем самом сделали древлереchie его прозвищем. [29] Отец эгефона не только «премудрости древлей искусен»; [30] он — отважный воин и славится как стратиг; [31] в награду за доблесть он получил прекрасную супругу. Ее род также знатный из знатнейших, в жилах ее течет царская кровь, и происходит она из прославленного дома Дук (род этот, как ты знаешь, знаменит великими подвигами; по слухам, он получил свое начало в Италии от потомков Энея, [32] а впоследствии обосновался в Константинополе).

Нет человека, который бы не слышал об ее отце, почтенном титулом ипата и отмеченном величайшими воинскими подвигами, [33] наградившем дочь несравненным душевным благородством. Все это я узнал тогда от людей, знакомых с историей его рода. Вероятно, немногое из многого и из

великого лишь малое стало мне известно по недостатку времени. Но вернемся снова к прерванному рассказу и пойдем дальше.

IX. Итак, во главе шествия, прокладывая дорогу, двигался, как я сказал, отряд воинов. И только после небольшого промежутка, нарушившего шествие, словно прервалась сплошная цепь, показался красавец дука.[34] Ни вечерняя, ни утренняя звезда не являются так дивно, как в этот час предстал перед нами он. «Блестящи очи его, как от вина, и зубы его белы, как млеко».[35] Дука строен телом, высок ростом, прекрасен и соразмерен всеми членами, так что к нему можно отнести известные слова: «нельзя ничего ни отнять, ни прибавить». Стан высок и строен, как кипарис, но шея склонена немного вперед, словно природа умеряла так непомерно высокий рост дуки и облегчала этим изгибом свободу его движений. Прежде остального, еще из далекой дали, ты замечал его глаза.

А когда дука приблизился к нам, стоявшим на дороге и с естественным благоговением дожидавшимся его появления, все в нем стало казаться каким-то изменчивым и неуловимым. Подобно питью, что «с полезными зельями вместе и горечи много содержит», [36] черты его менялись, являя временами прелесть Афродиты;

когда ты всматривался в него пристально, глаза выражали суровость Арея, а немного спустя — величие самого Зевса. Затем глаза эгемона, которые он пристально вперял во все окружающее, совершенно уподоблялись очам Гермеса — так остры и живы они были; взор как бы пояснял его речи и придавал им убедительность. В таком блеске духовных достоинств предстал передо мною дука в этот день.

Волосы его не вовсе черны и не очень светлы; смягчая резкость этих цветов, смешение их создавало какой-то удивительно приятный оттенок. Ведь черные волосы кажутся неприбранными и некрасивыми, белокурые же женственны и слишком нежны, а смешение того и другого цветов в мужественность облика вносит некоторую мягкость. Не иначе как Сапфо [37] отшлифовала его речь, придав ей убедительность, прелесть и музыкальную соразмерность. Восхищенный ею, ты, несомненно, воскликнул бы: «Воистину, божественный муж!» [38] и был бы счастлив слушать его.

X. И вот, как только этот доблестный муж вступил в святой храм и обратился с молитвой к мученику, народ начал по обычаю славословить своего эгемона. Дука стал на узаконенное место и воззвал митрополита — так, вероятно, предписывалось правилами или обычаем. Когда затем с особой торжественностью (ибо присутствовали столь высокие лица) были исполнены все подобающие этому дню обряды, зазвучало истинно ангельское пение, благодаря ритму своему, тону и полной совершенства смене оттенков становившееся все более сладостным. Песнопение исполняли не только мужчины; женщины, святые монахини, стоя в левом крыле храма и разделенные на два полухория, тоже принимали участие в прославлении мученика. По окончании службы и полагающихся обрядов, я, как это водится, воззав к святому, испросил у него счастливого возвращения, затем вместе со всем народом и дукой вышел из храма и отправился в свою гостиницу. Какими словами, Кидион, перескажу я тебе все ужасы, которые случились со мной после этого? Если при одном только упоминании о них меня охватывает глубокая печаль, представь себе, что я перенес, познакомившись с тяжелыми бедами и губительными недугами.

Кидион: Говори же, милый Тимарион, и рассказывай о своих мытарствах, ведь из-за этого-то я и стремился услышать твою историю. А обо всем прочем ты уже поведал достаточно подробно.

XI. *Тимарион:* Так вот, Кидион, когда после богослужения я добрался до своей гостиницы, меня скрутила жестокая лихорадка; за одну ночь она довела меня до полусмерти и, как я ни торопился поскорее возвратиться домой, крепко приковала к постели. Она, милый друг, и была причиной задержки, о которой ты спрашивал в начале нашей беседы. Мне казалось необходимым переждать приступ, чтобы, распознав характер болезни, применить надлежащее лечение. День я провел более сносно, так как ел только зелень с уксусом, а на следующий (то есть на третий от начала болезни) лихорадка снова воротилась и выяснилось, что она перемежающегося свойства, хорошо известного врачам. С этого часа я стал считать болезнь неопасной и, надеясь, что после пятого приступа она и вовсе пройдет (ибо такова ее природа), смело пустился в обратный путь, рассчитывая через несколько дней поправиться и благополучно вернуться домой.

Но на деле облегчение оказалось лишь началом страдания и предвестником смерти. Ведь когда приступ лихорадки прошел, за ним последовало воспаление печени и сильнейший понос, в результате которого я вместе с кровью терял один из основных элементов организма - желчь; [39] понос снес мое тело и терзал желудок подобно змее.

XII. Таким образом, многие напасти разом завладели мной. Прежде всего — тяготы путешествия, способные не хуже болезни свалить и самого крепкого человека; затем — воспалению печени, этот непрерывный внутренний жар, смертельный понос, рези в животе, словно когтящие железом, и, вдобавок к этому — долгий пост, прямым путем ведущий в могилу. Обессиленного всеми этими напастями, выучная лошаденка тащила меня в Византий, словно бесжизненный тюк. До поры до времени, милый Кидион, пожалуй, большую часть пути, мое жалкое тело это выдерживало, но, когда мы приблизились к Гебру,[40] самой знаменитой реке во Фракии, вместе с путешествием оборвалось и мое существование: мне не суждено было жить дольше.

Здесь сон, отец пресловутой смерти,* охватив меня, не знаю, как и рассказать об этом, увлек за собой в аид.[41] Я содрогаюсь от страха, когда вспоминаю все пережитое, и ужас перехватывает мне горло.

* Текст испорчен; переведено по смыслу. — С. П. и И. Ф.

Кидион: Ты не уйдешь от меня, милый друг, прежде чем не расскажешь о своем пребывании в подземном царстве.

XIII. *Тимарион*: Так вот, Кидион, потому что тело мое было вконец обессилено как поносом, так еще более того двадцатидневной голодовкой, я погрузился в последний, видимо, сон. В мире, как известно, существуют некие демоны-мстители, по божьему промыслу карающие преступивших законы, и благие, благом воздающие благочестивым, а также демоны-проводники, которые низводят отделившиеся от тела души к Плутону, Эаку и Миносу,[42] чтобы после испытания по законам и обычаям подземного царства определились там их участь и место. Так, Кидион, случилось и со мной; еще до полуночи к моей постели, лежа на которой я только начал забываться, спустились по воздуху темные обликом тенеподобные существа. Едва заметив их, я оледенел от неожиданности и лишился дара речи; как я ни напрягал голос, он мне не подчинился.

Была ли это явь или сон, я не сумею сказать, ибо от страха потерял способность ясно мыслить. Во всяком случае, видение было таким отчетливым и ясным, что до сих пор словно стоит перед моими глазами. Да, столь ужасные приключились со мной тогда вещи. Стоящие над моей постелью демоны словно наложили нерушимые оковы мне на уста то ли своим внушающим ужас видом, то ли благодаря какой-то таинственной силе и, лишив меня способности говорить, зашептались между собой: «Это — тот самый, — сказали они, — который утратил один из элементов своего существа, так как потерял всю желчь; он не может дольше жить, располагая лишь тремя остальными. Ведь в аиде высечено на стеле изречение Асклепия и Гиппократы,[43] гласящее, что человеку невозможно существовать, лишившись одного из четырех составляющих его организм элементов, хотя бы тело его было в остальном еще крепким. Поэтому, несчастный, — прибавили они уже полным голосом, — следуй за нами и, как мертвец, соединишься с мёртвыми».

XIV. Хотя и против воли, я последовал за ними (что же мне, не имеющему никакой поддержки, оставалось делать?), подобно им несясь по воздуху, легко, без усилий, всецело лишенный телесной тяжести, не делая движений ногами, как бегущие с попутным ветром корабли, утративши вес и устремляясь без помех вперед, так что можно было слышать легкий свист нашего полета, подобный звуку пушенной из лука стрелы.

Когда мы, несколько не намкнув, переправились через реку, которую молва нарекла Ахеронтом [44] и мои спутники тоже называли так, то оказались у какого-то отверстия в земле, немного большего, чем обычный колодец. Зияющий там мрак показался мне отвратительным и страшным, так что я не хотел спускаться. Но демоны заставили меня идти между ними, а затем один из них, вниз головой ринувшись во тьму, с угрожающим взглядом повлек с собой и меня. Я стал сопротивляться, руками и ногами упираясь в края колодца, пока оставшийся на поверхности демон, нанося удары по щекам и спине, обеими руками не втолкнул меня в эту черную дыру. Затем мы прошли долгий путь по

мрачной пустыне и, наконец, достигли железных ворот, которые закрывают вход в подземное царство. Никому невозможно спастись отсюда бегством; ворота поистине ужасают и величиной своей, и тяжестью, и крепко кованой обшивкой. В них нет ни кусочка дерева, все сделано надежно из железа; они наглухо затворяются железными засовами, тоже огромного размера, веса и толщины.

XV. Перед воротами — стража: драконы с огненными глазами и клыкастый пес, которого язычники называли Кербером, страшно сказать, какой свирепый и ужасный, а с внутренней их стороны, подобные теням, мрачного вида привратники с отвратительными лицами, все обросшие и страшно худые, словно только что спустились сюда прямо из разбойничьего вертепа в горах. Хотя вид их был так устрашающ, заметив моих проводников, они услужливо открыли ворота. Кербер, виляя во все стороны хвостом, приветливо завизжал, драконы зашипели умиротворенно, и мои проводники повели меня, уже совершенно покорного. Да и как мне было сопротивляться, когда я нигде не мог найти поддержки и был обречен на страшное и неведомое мне существование? Едва я ступил за ворота, привратники, пристально взглянув на меня, сказали: «Это — тот самый, о ком вчера говорили у Эака и Миноса, что он, потеряв одну из составных частей своего тела, желчь, и обходясь остальными тремя, остается на земле вопреки учению Гиппократу, Асклепия и всего врачебного сонма.

Ну, вводи же этого несчастного, позволяющего себе философствовать об особенностях человеческого организма! Ведь где это видано, чтобы смертный, без одного из четырех основных соков, продолжал оставаться на земле и жил земной жизнью?!».

XVI. *Кидион*: Все это, милый Тимарион, очень страшно, я понимаю, и сам содрогаюсь от одного твоего рассказа. Но как же, скажи, тебе удалось в такой темени рассмотреть лица привратников и как следует разглядеть все остальное?

Тимарион: Аид, друг мой, погружен в полный и бессолнечный мрак, но там пользуются искусственным светом — лучинами, угольями, факелами, — это в ходу у простого народа. А те, кто в прежней жизни были имениты и богаты, зажигают лампы и живут при ярком освещении. Мне попадалось много таких, когда я посещал жилища мертвецов и видел их трапезы.

Кидион: Рассказывай, друг мой, дальше и не теряй нити своей повести.

Тимарион: Так вот, когда эти железные ворота закрылись за нами, мы перестали нестись по воздуху, как прежде, со свистом и быстротой, торопясь миновать пределы живых, точно вражескую землю, но стали двигаться неспеша, пешком, медленной поступью, то ли потому, что мои провожатые устали от непрерывной гонки, то ли безжалостные все-таки пожалели меня. Мы миновали множество убогих домишек бедняков, и повсюду их обитатели выходили навстречу проводникам и почтительно вытягивались перед ними, словно дети перед учителем.

XVII. Вдруг мы подошли к залитому светом дому; перед ним, прямо на земле, лежал старик с небольшой бородой. Он облокотился на левую руку, подпирая ею щеку. Рядом с ним стояла большая медная чашка, наполненная соленой свининой и фригийской капустой, плавающими в жиру. Старик запускал туда руку, беря еду не двумя или тремя пальцами, а загребая всей пятерней, и жадно подносил к губам,[45] словно подхватывая на лету. На вид он казался приветливым и беззлобным и на проходящих глядел добродушно и даже ласково. Взглянув и на меня кротко и дружески, он сказал: «Подойди сюда, садись рядом со мной и угощайся; отведай здешней еды». Но я не согласился — потому что перемена судьбы вывела меня из равновесия, кроме того, я боялся, как бы провожатые не пустили в ход кулаки. Они на каждом шагу обменивались приветствиями с мертвецами, словно вернулись из долгого путешествия, и то и дело останавливаясь, чтобы побеседовать, давали и мне возможность присмотреться к здешней жизни

Пока я разглядывал этого старика, ко мне подошел какой-то простолоудин, человек как будто вполне приличный, и стал подробно обо всем расспрашивать: кто я, и откуда родом, и какой вид смерти привел меня в аид. Я рассказал ему все чистосердечно.

XVIII. Поскольку этот человек вступил со мной в разговор, я в свою очередь спросил его, кто тот старик и как его звать. А добрейший мой собеседник, отныне ставший мне другом, сказал: «Не спрашивай, пришелец, его имени потому, что тебе не следует задавать этот вопрос, а мне — на него

отвечать. Законы Эака и Миноса определили суровое наказание тем, кто спрашивает или сообщает имя этого старика. Согласно их велению, многое из того, что связано с ним, должно сохраняться в тайне, а что можно, я тебе расскажу. Родом он из Великой Фригии и, как говорят, отпрыск знатной и прославленной семьи. Он прожил свою жизнь достойно, умер бодрым стариком и теперь, как видишь, проводит здесь дни, купаясь в жиру». [46] Так сказал мой новый приятель; я в это время оглянулся, и на глаза мне вдруг попались две жирные, круглые лоснящиеся мыши, похожие на поросят, которых откармливают пшеничной мукой и отрубями. В омерзении от неожиданного зрелища я вновь обратился к этому доброму человеку: «Милый друг, здесь в аиде и в самом деле все так ужасно и отвратительно. Но что и у вас тут водятся мыши — кажется мне самым нестерпимым; ведь меня, из-за страшного отвращения к мышам, несколько примиряла с переселением сюда надежда, что я избавлюсь от этой напасти. А раз мне и здесь суждено воевать с ними, пусть я снова умру и вторично низойду уж не знаю в какое подземное царство!».

XIX. Немного помолчав, этот добрый человек снова обратился ко мне: «Я удивляюсь, друг мой, твоей необразованности и неосведомленности в самых простых вещах. Неужели ты не знаешь, что мыши — землеродные и что во время засухи, когда земля покрывается трещинами, они через эти трещины вылезают на поверхность?» [47] Им, по правде, и пристало водиться под землей и жить в аиде, а не на поверхности в среде живых. Ведь мыши приходят к нам не с земли, а наоборот — от нас, из глубины, поднимаются на свет божий. Поэтому дивись не тому, что у нас есть мыши, а тому, что они ручные и живут бок о бок с нами, не ведая страха перед кошками. Разве ты не видишь, как радостно они следят за этим поедающим солонину стариком, как веселятся, двигают челюстями и облизываются, будто им достается больше жира, чем самому владельцу чашки». И правда, когда я пригляделся к мышам, все так и оказалось, как он говорил. «Замечаешь ли ты, — продолжал мой собеседник, — как они нацелились на его бороду и только и ждут, когда старик заснет. Едва они услышат храп (во сне старик храпит), они тут как тут — облизывают его подбородок, измазанный жирной едой, лакомятся до отвала приставшими к бороде крошками и, как видишь по их упитанности, живут весьма недурно».

XX. Небольшая задержка моих провожатых позволила мне узнать все это; вскоре они двинулись дальше и, снова пустившись в путь, мы сделали около четырех стадиев [48] и миновали множество домов, пока не оказались у белоснежного шатра, залитого светом ярких ламп, откуда доносились тяжкие стоны. Я оглянулся вокруг и, увидев, что мои спутники снова остановились побеседовать с мертвецами (с которыми они, очевидно, были хорошо знакомы и дружны), незаметно, таясь от их глаз, подошел к шатру и стал разглядывать, что делается внутри и кто так мучительно горько стонет. На земле был распростерт человек с выколотыми глазами; он лежал на левом боку, опираясь на локоть; ложем ему служил лаконский ковер. Незнакомец был хорошего роста и, хотя не очень плотен, ширококост и мощен грудью. [49]

*В полный рост он распростерся, забыв о своих
колесницах [50]*

*. . . не был подобен
Мужу, ядущему хлеб, но утеса лесистой
вершине. [51]*

Подле него сидел какой-то старец, стараясь уговорами и увещаниями облегчить ужасные его муки. Но несчастный как будто не хотел внимать; он то и дело покачивал головой, отстраняя рукой старика. Изо рта у него струей тек яд.

XXI. Когда я хорошенько все разглядел и, обернувшись на своих провожатых, отошел от шатра и стал искать их глазами, заметил какого-то, судя по виду, старого и совершенно высохшего человека, как обычно бывают те, кого сводят в могилу изнурительные лихорадки. Едва взглянув на меня, он по цвету моего лица сразу же понял, что я здесь не старожил (ведь покойники, попадающие в аид, некоторое время сохраняют следы живого румянца и по этой примете их отличают без труда) и, приблизившись, сказал: «Привет тебе, пришелец, расскажи мне, что делается наверху. Сколько скумбрий дают теперь на обол? [52] Сколько тунцов и селедочек? Почему оливковое масло, вино, хлеб и все остальное? Чуть не забыл спросить у тебя самое главное — каков нынче улов сарделей? Когда-то в той жизни я ими лакомился с наслаждением и предпочитал их зубатке». Так он спрашивал меня, и на все вопросы я ответил сущей правдой. А рассказав ему, как

обстоят дела на земле, пожелал узнать, кто обитатель шатра, что за старец сидит над ним и почему он стонет.

XXII. Этот добрый человек стал рассказывать так: «Обитатель шатра, чьи громкие стенания ты слышал, — знаменитый Диоген из Каппадокии.

При жизни ты, конечно, знал его историю: как он достиг царства, как пошел походом на восточных скифов,[53] оказался в плену, впоследствии снова обрел свободу, но, придя в Византий, не вернул себе трона. Во время войны он попал в руки своих врагов и теперь, как видишь, слеп, благодаря их предательству, и, вдобавок, коварно опоев ими губительным ядом. Сидящий подле него старик — один из знатнейших людей Великой Фригии, ближайший советник и сподвижник Диогена при жизни. [54] И теперь, скорбя о его участи, он, в память старинной дружбы, неотлучно находится при Диогене и стремится, по мере сил, облегчить ему воспоминание о перенесенных муках подобающими словами и увещаниями».

Такое поведал мне этот добрейший человек. Тут опять появились мои проводники и стали меня подгонять, говоря: «Торопись предстать перед судилищем и освободи нас».

«И здесь, — воскликнул я, — суды, разбирательства и приговоры, совсем как на земле!»

«Тут-то им и место, — отвечали мои провожатые, — ибо тут тщательнейшим образом взвешивается вся человеческая жизнь и каждому воздается по заслугам: решения этого суда непреложны».

XXIII. Такие разговоры мы вели по пути, а пройдя еще немного, встретили человека высокого роста, с совершенно седыми волосами, очень изможденного; он, впрочем, был приветлив и словоохотлив, разговаривая, надувал щеки и широко улыбался.

— Привет вам, — сказал он моим спутникам и спросил: «Кто этот новый обитатель аида, которого вы только вводите сюда?» С такими словами незнакомец оборотил ко мне взгляд, пристально на меня уставился и стал внимательно изучать мое лицо.

Немного помолчав, он громко и радостно воскликнул: «Милостивые боги, да ведь это Тимарион! Мой милый Тимарион, с которым мы не раз делили богатые трапезы, который посещал мои лекции в пору, когда я занимал кафедру риторики в Византии». Он обнял меня обеими руками и от всей души расцеловал. А я замер, устыженный дружеским приемом человека, по всей видимости, значительного, которого я, однако, не узнавал; я не мог понять, ни кто это такой, ни как этого человека надлежит приветствовать. Он заметил мое замешательство и поспешил прийти мне на помощь, говоря: «Неужели, милый друг, ты не узнаешь Феодора из Смирны, знаменитого ритора, чья слава в искусстве произнесения пышных торжественных речей гремела на весь Византий?».[55]

Выслушав это, я ужаснулся теперешней худобе Феодора и всему его облику.

«Учитель, — сказал я, — я помню и голос, и блеск, и парение речей, и статность, присущие при жизни славному Феодору Смирнскому. Но что тело его поражено подагрой, что перед императором он говорил, только если его приносили на носилках, что даже есть ему приходилось в постели, приподнявшись на локте, — это не вяжется у меня с твоим прежним цветущим здоровьем».

XXIV. «Я разрешу, дорогой ученик, это твое недоумение, — сказал Феодор. — На земле, в той жизни, произнося речи для услаждения императоров, я получал в награду много золота и достиг значительного богатства, которое тратил на изысканный стол и сибаритские пиршества.

Ведь ты и сам, будучи частым моим гостем, знаешь, какая поистине царская роскошь отличала эти трапезы. Отсюда моя подагра, узлы на пальцах, обильная слизь, сковывающая мне суставы и лишаящая их подвижности. Это породило боли, которые терзали мне душу и тело; с той поры я стал болеть и обессилел.

Здесь внизу у меня все иначе: философский образ жизни, простой стол, спокойная и, можно сказать, беззаботная жизнь. Я смирил свой прожорливый желудок кресс-салатом, мальвой и асфоделем и теперь только убедился в правоте мудреца из Аскры, говорившего. Ведь люди не знают,

*что на великую пользу идут асфодели
и мальва.*[56]

Коротко говоря, прежняя моя земная жизнь — это софистические ухищрения и улаждающая толпу словесная игра, теперешняя же — философия и подлинное знание, чуждое пустословия и суетного тщеславия.

Я поведал тебе все это из желания покончить с твоими заблуждениями и возобновить нашу прежнюю близость. Теперь ты знаешь обо мне все; в свою очередь, расскажи просветившему тебя, какой смертью ты сведен в могилу и каков повод твоего переселения сюда».

XXV. «По правде сказать», — отвечал я, — никакого повода для этого не было, любезный учитель: ни вражеского меча, ни нападения разбойников, ни несчастного случая, ни продолжительной болезни, которая снедала бы мое тело, но, как мне кажется, только произвол вот этих провожатых в аид, насильно исторгнувших меня, еще вполне жизнеспособного, из тела. Чтобы ты узнал все по порядку, с начала до конца, скажу, что, посетив Фессалонику и уже собираясь в обратный путь, я свалился в жестокой лихорадке, вызванной воспалением печени и сопровождавшейся сильнейшим поносом. Я истекал желчью, слегка окрашенной кровью. Понос мучил меня непрерывно до самого Гебра; ты, конечно, помнишь эту широкую и судоходную фракийскую реку.

На берегу ее я остановился в какой-то гостинице, желая дать отдых и себе, и лошадям, и в этот вечер мне стало лучше, и я решил провести там еще одни сутки и, действительно, поступил так. Настала ночь, все в доме спокойно заснуло, уснул и я.

Около полуночи, когда я еще спал, эти злобные мои провожатые подходят к моей постели. Увидев их, я потерял голос и не в силах был проснуться. В таком состоянии я и был отторгнут от тела, ничего не добившись на вопрос о причине этого, кроме слов: «Это человек, который лишился всей желчи — одного из основных составляющих организм элементов; по приговору Асклепия, Гиппократы и всего врачебного сонма он не может дольше жить, и несчастный должен быть разлучен со своим телом».

XXVI. Так они сказали. Теснимый не знаю какой силой, я был сдавлен в своем собственном теле, как комочек шерсти, и мгновенно вытолкнут через ноздри и рот, подобно дыханию. Теперь, как видишь, я низведен в аид и вспоминаю стих:

*Быстро от тела умчалась душа и в аид
опустилась.*[57]

Однако если справедливы рассуждения наших злосчастных софистов о предопределении, я еще не исполнил своего земного срока и был отделен от тела насильственно. Теперь, поскольку в подземном царстве существуют суды и разбирательства, избобличающие несправедливость, поддержки своего ученика, когда он внесет жалобу на беззаконие этих злодеев.

Говоря так, я плакал, и Феодор, тронутый моими слезами и полный сострадания, ответил:

«Не теряй мужества, друг мой, — я сделаю для тебя даже то, что превышает мои силы, и могу смело пообещать, что ты покинешь аид, чтобы жить во второй раз и, как ты того хочешь, воскреснуть. Только смотри, не забудь прислать мне с земли все, по чему я соскучился — моей любимой еды».

XXVII. «Слова твои, блистательный наставник, — сказал я, — пока они не осуществились, — кажутся мне невероятными, чудесными и поистине такими же загадочными, как существа, которыми каменотесы и ваятели украшают здания, — гиппокентавры, сфинксы и другие мифические твари древних.

Объясни мне, однако, прославленнейший из риторов, на что ты надеешься, обещая, что меня отпустят отсюда, когда судьи — Эак и Минос — язычники и враждебны мне, галилеянину, а ты сам — ученик и последователь Христа »[58]

«На что я надеюсь, — отвечал Феодор, — и тебе хорошо известно. Я ведь обладаю гибкостью ума, которая без труда опрокидывает все доводы противника и помогает быстро отвечать на любой вопрос

и любое возражение, а также находчивостью в выборе надлежащих средств, речью плавной и вместе с тем ясной и, наконец, познаниями в медицине.

Благодаря этому при самых ничтожных возможностях я сумею одолеть пресловутых языческих богов-целителей.

XXVIII. Ведь Асклепий при всей своей дутой славе и сомнительной божественности уже много лет не произносит ни единого слова,[59] а если его заставляет нужда, когда к нему обращаются с вопросами (сам он старательно устраняет всякий повод для беседы), спрашивающий должен строить свою речь в расчете на утвердительный или отрицательный ответ, и Асклепий, в зависимости от своего решения, кивает или отрицательно качает головой; таковы, видишь ли, его вещания.

Гиппократ же, если и говорит, то немного, одну, самое большее две фразы, и те в весьма загадочной, совсем не подходящей для судебных речей манере и вдобавок чудну, вроде, например, такого: „Размягченное очищать и приводить в движение, непереваренное же отнюдь“, или: „При расстройствах желудка и рвотах“. Все это только забавляет судей, говорящих на другом языке».*

* Не представляется возможным передать оттенок ионийского диалекта, на котором писал Гиппократ, проявляющийся здесь только в особенностях падежных окончаний и отсутствии слияний в глагольных формах. — С. П. и И. Ф.

Минос ведь критянин, а Эак — фессалиец, настоящий грек из древней Эллады; если какой-нибудь иониец или дорянин из попадающих в аид покойников попробует у них разговаривать по-своему, они издеваются над ним и прямо покатываются со смеху.[60]

Что касается Эрасистрата, то он совершенно не посвящен ни в какую премудрость и чужд грамматике; не очень тверд он также и в медицине, а свою жалкую и пустую славишку приобрел лишь благодаря опыту, врожденной сообразительности и тому, что брался за все. Только поэтому он угадал страсть Антиоха к Стратонике и с тех пор был, как только можно, превознесен.[61]

XXIX. А божественный Гален,[62] которого я опасаясь больше всех, по божьему, может быть, соизволению не участвует сейчас в совете врачей; причина, которой он это объясняет, как я сам недавно слышал, — его книга

«О различных видах лихорадок». И теперь, поди, он сидит где-нибудь в углу и, спрятавшись от сутолоки и шума, восполняет в ней пробелы. Как-то он даже сказал, что дополнения будут больше того, что уже написано. Так вот, поскольку Гален отсутствует, мне не составит труда взять верх над этими бессловесными знаменитостями.

Ты только не бойся, что судьи язычники; они в высшей степени преданы справедливости и за это удостоены судебных кресел.

Вера предстоящих перед ними их нисколько не заботит, ибо всякому, по его желанию, дозволено придерживаться своей.

Теперь, когда галилейская вера распространилась по всей земле и подчинила себе и Европу и большую часть Азии, провидению угодно было присоединить к прежним судьям-язычникам одного христианина. Феофил,[63] который был некогда императором в Византии, вместе с ними творит ныне суд, и ни одно решение не имеет силы без его согласия. Ты, конечно, знаешь от тех, кто описывал его жизнь, сколь бесконечно справедлив был Феофил, поэтому не надо бояться, что он обойдет тебя вниманием или будет судить лицепрятно, лишь бы нам предстать, наконец, перед судом.[64]

Воздержись только от слова, ибо ты не знаком с ведением судебных дел, и предоставь мне право говорить за тебя.

XXX. Между тем подошли мои проводники и стали расспрашивать Феодора, знает ли он меня. Тот отвечал, что я его ученик, и прибавил: «Я отправлюсь теперь вместе с вами, чтобы выступить за него на суде, против вас, причинивших ему такую несправедливость и до срока похитивших из жизни». Так он сказал, и мы все вместе пошли вперед; пройдя около пятнадцати стадиев по этой мрачной и темной местности, мы вдруг замечаем мерцание какого-то света.

По мере того как мы подходили ближе, он становился все ярче, и так, постепенно выйдя из мрака, мы оказались на светлой равнине, омываемой водой и поросшей всевозможными деревьями, через которую протекала полноводная река. В рощах громко и мелодично пели птицы, земля была сплошь устлана травой, и, как я услышал от Феодора, давно уже изучившего все в аиде, здесь никогда не бывает ни зимы, ни смены этого цветения; все остается таким же и никогда не старится: деревья всегда отягчены спелыми плодами, всегда стоит весенняя пора, ничто не меняется и не подвержено увяданию. Это и были знаменитые на земле Елисейские поля и Асфоделев луг.[65] Так просвещал меня мой софист, когда мы впервые издали увидели их сияние.

XXXI. Дойдя до этого залитого светом места, мы, по просьбе Феодора, присели на траву немного отдохнуть, а затем отправились дальше по направлению к судилищу.

Как человек, не знакомый с судебной премудростью и, кроме того, не привычный говорить, я чувствовал сильное беспокойство и, подойдя к учителю, поведал ему свои опасения. Он же мудрыми словами вдохнул в меня бодрость и уверял, что все обойдется отлично. «Смотри только, — говорил он, — чтобы ты, ожив вновь, прислал мне с земли то, по чему я соскучился. Ведь с тех пор, как я попал сюда, мне не пришлось попробовать даже похлебки, сдобренной свиным салом. Все что нужно, я потом еще раз перечислю, когда судьи разрешат тебе возвратиться на землю».

Пока мы вели такого рода беседы и продолжали идти вперед, на расстоянии полета стрелы показалось судилище, где как раз завершилось рассмотрение дела о неправом умерщвлении Цезаря Кассием и Брутом.[66]

Каково было решение — не могу сказать, потому что мои мысли полностью занимала собственная судьба, и я совершенно был поглощен этим.

XXXII. Пока Кассий и Брут выходили из судилища, ко мне приблизились тамошние служители и спросили: «А ты что скажешь, мертвец? Тебя сейчас введут!». Мой софист, слегка оттолкнув меня локтем, заговорил сам: «О служители закона, скорее введите нас к справедливейшим судьям, и вы станете свидетелями тягчайшего и нечестивейшего из хранимых человеческой памятью преступлений, которое эти прекрасные проводники совершили по отношению к злосчастному Тимариону».

Но раз нас, по здешним законам, охраняет, о справедливые его слуги, ваше покровительство, мы свободны от своих злокозненных проводников и будем жаловаться Миносу, Эаку и Феофилу из Византия на этих мужей, преступивших право и справедливость. Хватайте их и ведите в судилище, пусть дадут ответ, на каком основании они пренебрегли установлениями подземного царства. Разве дозволено законами вида отторгать душу от тела еще жизнеспособного настолько, что больной сидит в седле и ежедневно съедает по целой курице?!».

XXXIII. Как только Феодор произнес эти слова, служители, схватив моих проводников, ввели их вместе с нами внутрь, и все мы предстали перед Эаком, Миномом и галилеянином Феофилом.

На язычниках была просторная одежда, головы, как у арабских военачальников, покрыты чалмой, на ногах высокие цвета фиалки крепиды.[67]

Ничего пышного или яркого не было, напротив того, на Феофиле; он был одет с величайшей простотой и даже небрежно во все темное. По рассказам, император и в пору своего царствования был таким же — неказисто и без роскоши одетым, зато блистал и славился справедливостью и другими добродетелями. При том, что Феофил был столь небрежен в одежде, глаза его сияли, а лицо было светло и спокойно.

Рядом с ним стоял некто в белом одеянии, безбородый и похожий на евнуха из покоев императриц; он тоже был светел, и лик его сверкал, подобно солнцу. Все время он шептал что-то на ухо императору. Я стал спрашивать своего учителя: «В том, кто восседает на судейском кресле, я, благодаря твоему недавнему рассказу, узнаю Феофила из Византия, а кто стоящий подле него евнух — не могу понять». Феодор ответил: «Неужели, дражайший Тимарион, тебе неизвестно, что при каждом христианском императоре есть ангел, который руководит его поступками, и сюда, в аид, они следуют за императорами подобно тому, как не оставляют их при жизни?»

Пока мы обменивались такими речами, служители судилища дали знак, чтобы воцарилась тишина; мой софист надул по своему обыкновению щеки, придав лицу значительное выражение, и, потирая руки, громким голосом стал говорить.

XXXIV. «Тимарион, сын Тимоника, обвиняет Оксиванта и Никтиона,[68] проводников усопших. Законы подземного царства недвусмысленно гласят, что душа до тех пор не должна быть низведена в аид, пока тело целиком или в одной из существенных своих частей не будет разрушено и не лишится душевных сил; что даже после того, как они разобьются, душа, пребывая вне тела, целых три дня должна находиться рядом; только по прошествии этого срока проводникам усопших дозволяется овладеть ею. Однако Оксивант и Никтион презрели эти божественные установления, и когда Тимарион был еще здоров, ел, пил и сидел в седле, эти не в меру исправные и рьяные служаки, в гостинице на берегу Гебра, появились среди ночи перед ним и насильно оторгли от тела душу, еще неразрывно с ним соединенную и сопротивляющуюся их насилию, от чего она до сих пор не успела зажечь, и с нее продолжает капать кровь; ведь душа Тимариона, когда проводники злокозненно овладели ею, была прочно связана с телом.

Поэтому, о судьи, справедливо, чтобы Тимарион вновь вернулся на землю, обрел собственное тело и сполна прожил отпущенный ему судьбою срок. Лишь после этого, когда наступит естественный предел его существования, ему надлежит быть отторгнутым от своей плоти, вновь низведенным в аид и неизбежно сопричисленным сонму мертвых». Он кончил, и Минос, гневно взглянув на моих проводников, говорит: «Теперь, злодеи, ваша очередь отвечать! Знайте, что расплата будет тяжелой, если окажется, что вы действительно преступили наши законы». На это более дерзкий Никтион ответил:

XXXV. «Мы, о божественные судьи, с незапамятных кроновых времен [69] несущие эту службу, хорошо осведомлены обо всем, что касается мертвых, и знаем причины, по которым души низводятся в подземный мир. Этот злополучный Тимарион, как мы заметили, на пути из Фессалоники до величайшей фракийской реки потерял вследствие поноса четвертую часть необходимых для жизни элементов, то есть желчь. Знаменитейшие врачи научили нас считать не согласным с законами природы, чтобы человек продолжал жить, буде он обладает лишь тремя основными элементами организма. Узнав, что Тимарион в течение тридцати суток истекал желчью, мы пришли к его постели и отозвали душу, поскольку ей не полагалось долее оставаться в таком ослабевшем теле.

Объявите же, справедливейшие судьи, ваш приговор, и мы беспрекословно подчинимся законам».

Таково было оправдание моих проводников. Судьи недолго пошептались между собой и решили в этот день не принимать никакого решения. «В этом случае, — говорили они, — необходимо присутствие великих врачей Асклепия и Гиппократы; только при их участии может быть вынесен справедливый приговор, так как дело требует врачебных познаний. Поэтому отложим пока разбирательство. Через два дня мы соберемся вновь и с помощью великих врачей разрешим тяжбу».

С этими словами судьи поднялись со своих мест и направились в более отдаленную часть луга. Нас же обоих вместе с моими проводниками служители судилища повели в недавно покинутые нами мрачные урочища, но не в самую глубину их, а туда, где они граничат с Елисейскими полями и порождаемый их сопредельностью свет сумеречен.

XXXVI. Пока судьи предварительно обсуждали дело, Феодор наклонился к моему уху и прошептал: «Подойди вон к тому дереву (он показал пальцем на высокую, густую сосну), под ним ты найдешь различные овощи, и знакомые, и дикие для тебя. Набери себе всяких — ничего вредного здесь не растет, но все приятно на вкус и годится в пищу, и, раз уж тебе суждено задержаться, поедим с тобой в свое удовольствие. Здешние овощи, впитывая душистые дуновения и воздух, обладают приятным запахом и до того, как попадут в желудок, и впоследствии».

Я с готовностью послушался учителя и, приблизившись к сосне, набрал столько овощей, сколько мог унести. Не успел я вернуться назад, как все мы, — и наши нынешние проводники, и мои прежние, с которыми у нас была тяжба, двинулись в путь. На пороге светлого и темного пределов мы провели двое суток, а с наступлением третьих встали, чуть что не с петухами, как сказал бы живой, и вновь направились к судилищу. Быстро совершив путь — никто не успел нас опередить, — мы очутились перед судьями.

*В ризах шафранного цвета заря над землей
распростерлась.* [70]

Асклепий и Гиппократ, сидя рядом с судьями, совещались и решали, какого я заслуживаю приговора: они потребовали, чтобы глашатай судилища ознакомил их с три дня назад внесенной жалобой на Никтиона и Оксиванта, и он, как велит обычай, произнес: «Лица, три дня назад внесшие жалобу на Никтиона и Оксиванта, пусть приблизятся, дабы выслушать сейчас решение божественного суда».

XXXVII. Тут служители ввели нас всех, и истцов и ответчиков, перед лицо судей. Мой учитель обдумывал свою речь, а я внимательно разглядывал Асклепия и Гиппократа. Лица первого, однако, мне не удалось увидеть: оно было скрыто сверкающим покрывалом из золотых нитей, прозрачным лишь настолько, чтобы

Асклепий мог все видеть, сам оставаясь невидимым — суетная гордыня божества. Гиппократ же напоминал араба в своей высокой, заостряющейся кверху чалме. На нем была одежда до полу, ничем не подпоясанная, кусок ткани до пят, без выреза где бы то ни было; он носил длинную седеющую бороду и был, подобно стойкам, наголо острижен. Может быть, от него перенял такую манеру стричься Зенон, [71] заповедавший ее и своим последователям. Пока я рассматривал судей, секретарь достал протокол и начал громко читать:

«Тимарион, сын Тимоника, обвиняет Оксиванта и Никтиона. . .» Далее последовало все от начала до самого конца, и я вновь услышал о первом рассмотрении дела и о решении отложить его до того дня, когда Гиппократ и Асклепий будут присутствовать в суде.

По окончании чтения знаменитые врачи, посоветовавшись вполголоса друг с другом и пригласив также Эрасистрата принять в этом участие, некоторое время хранили молчание. Гиппократ прервал его и, метнув грозный взгляд на моих проводников, произнес: «Дайте ответ, Никтион и Оксивант, какой болезнью

страдала душа Тимариона? Застали ли вы ее уже отторгнутой от тела? И не разобшили ли насильственно с плотью, когда она была еще прочно с нею связана, чтобы низвести в эти пределы?».

XXXVIII. После краткого раздумья мои проводники стали оправдываться следующими словами: «Мы не совершили ничего незаконного или противоречащего установленным вашей наукой правилам. Ведь сами вы строжайше определили, что ни одно существо не может не только жить, но даже родиться, не обладая четырьмя основополагающими элементами: кровью, слизью, желчью черной и желтой. Если же кто-нибудь из живых лишится одной из этих составных частей, он становится нежизнеспособным. Руководствуясь этим, мы несли на земле возложенную на нас службу и, когда узнали, что злополучный Тимарион в течение тридцати суток, днем и ночью, истекает желчью, почти всегда смешанной с кровью, заключили, умудренные своим искусством, что ему невозможно жить долее. В самом деле, как же у него после всего этого, при безостановочной его потере, могла сохраниться хотя бы капля этого основного жизненного сока? Поэтому-то нам не было нужды применять силу, чтобы отделить душу Тимариона от тела. Стоило только приникнуть к его ноздрям, и мы без малейшего сопротивления, одним легким движением губ исторгли ее из глубин, ибо тело было обессилено длительной болезнью».

Сказав это, Никтион и Оксивант замолчали, а служители судилища обратились к нам: «Изложите и вы, со своей стороны, обстоятельства дела, но покороче, чтобы величайший из врачей — бог Асклепий мог покинуть совет, где он давно не был и куда по многу лет не приходит с тех пор, как причислен к сонму бессмертных, избегая общения с людьми». Тут мой софист раздул щеки и начал так:

XXXIX. «Божественные судьи, и вы, князья врачебной науки! То, о чем разглагольствовали эти низкие люди, привлекая, в ущерб справедливости, все свое красноречие на погибель несчастного Тимариона, вы уже выслушали. Теперь остается убедиться, что эти хитросплетения послужили во вред только им самим».

В это время Гиппократ наклонился к уху одного из служителей и осведомился, кто этот развязный вития, который защищает меня, и откуда родом. А тот стал рассказывать, что Феодор, будучи родом из Смирны, жил в Византии, занял там кафедру риторики, наполнил двор громом своих речей и

удостоился великих почестей и милостей императоров. Вот что мне удалось услышать из его рассказа Гиппократу. Феодор между тем продолжал: «Что Тимарион не был еще обречен смерти, признают, надеюсь, и сами проводники. В самом деле, как могло случиться, что тело человека, который верхом покинул Фессалонику, оказалось нежизнеспособным и бессильным жить? Помимо этого напомним, что законы царства мертвых повелевают, чтобы после отделения души от тела по умершем совершались заупокойные обряды в зависимости от его веры, причем для каждой свои (христиане совершают их на третий, девятый и сороковой день), и только затем душе надлежит низойти в подземное царство. Несмотря на это, Никтион и Оксивант, не дожидаясь исполнения полагающихся заупокойных обрядов, препроводили душу Тимариона в аид».

Тогда Никтион запальчиво воскликнул: «При Тимарионе не было никого, кто мог бы совершить эти обряды. Ведь через Фракию он только проезжал и, как чужой для всех, не имел человека, который взял бы... на себя.*

* В рукописи лакуна, кончающаяся, как видно из следующего пассажа, речью Феодора из Смирны. — С. П. и И. Ф.

А если вы утверждаете, что не насильственно исторгли из тела душу Тимариона, пусть люди, обладающие хорошим зрением, осмотрят ее; на ней до сих пор висят клочья мяса, так как она была насильственно разлучена с телом».

XL. Для этого были тотчас назначены Оксидеркион и Никтолевст.[72] Тщательно осмотрев мою душу, они сообщили суду следующее свое заключение: «Поверхность тимарионовой души повсюду, даже при беглом осмотре, обнаруживает следы крови, подобно душам павших на поле сражения, обнаруживающих пот и кровь. После тщательного исследования мы заметили в некоторых местах свежую кровь и почувствовали запах живой плоти; кроме того, выяснилось, что на тимарионовой душе остались частицы мяса, также окровавленные и не успевшие омертветь».

«Вот вам, судьи, подтверждение моих слов! — с торжеством закричал Феодор. — Как же могло тело Тимариона, раз душа была еще столь прочно с ним связана, полностью утратить один из своих основных элементов, когда, по мнению величайших врачей, при потере любого из них с легкостью обрывается связь души с телом.

То, что исторгнутая Тимарионом жидкость была не первоосновой природы, но представляла собой превращенную в желчь вследствие воспаления печени ежедневно потребляемую пищу, и то, что извержения больного неизбежно были той же природы, то есть содержали желчь и кислоту, — станет очевидно после исследования. В его душе [73] вы обнаружите желчь в области печени, где происходит образование крови; из этого следует, что потребляемая пища была отравлена желчью, и желчь входила в состав извержений. Поэтому они представляли собой не элементарную чистую желчь, но обычные извержения, смешанные с желчью, вырабатываемой, вследствие воспаления печени, в количестве, превышающем нормальное».

XLI. Этими словами Феодор кончил свою речь. Судьи некоторое время молчали, ибо глашатай потребовал полной тишины, а затем после краткого совещания с врачами, когда черепки для голосования были как полагается опущены в стоявшие тут же урны,[74] вынесли мне оправдательный приговор.

Вслед за этим началось составление протокола; при этом присутствовал некий софист из Византия, который, как рассказали мне служители, благодаря своим способностям и быстроте, давно уже исполнял в судилище эти обязанности.[75] «Гляди, — прибавили они, — как быстро он продиктует писцу только что вынесенный приговор». Итак, после краткого перерыва судьи послали за ним, и когда софист в сопровождении Аристарха [76] появился, шаг за шагом перечислили ему отдельные пункты своего решения. Софист тотчас же принялся диктовать, заметно заикаясь, так как и здесь не освободился от своего недостатка — кривой губы.[77] Аристарх записывал его слова, а Фриних[78] был дан ему в помощники.

Готовый приговор передали секретарю, а затем огласили. В нем значилось:

«Божественным советом великих врачей и богом врачевания Асклепием постановлено, чтобы Никтион и Оксивант, преступившие законы подземного царства, с этого дня оставили свою службу проводников усопших. Тимарион же был возвращен на землю и водворен в собственное тело; лишь по истечении определенного ему судьбою срока, после того, как над ним будут совершены положенные заупокойные обряды, Тимариону вновь надлежит быть низведенным в аид теми, кто будет тогда отправлять эту службу».

XLII. По окончании чтения судьбы поднялись со своих мест, и совет был распущен. Эак, Минос и Феофил направились в свое обычное пристанище на Асфоделевом лугу, в другую часть которого медленно прошеествовал вместе с остальными врачами Асклепий.

Христиане испускали крики ликования, прыгали от радости, обнимали моего мудреца из Смирны и превозносили до небес за удачный конец речи, ее построение и расположение частей. Те же служители, которые в свое время ввели меня в судилище, теперь сопровождали через аид, так как на них была возложена обязанность вывести меня на землю. И вот, когда мы повернули к аиду и стали проходить пределы мрака, оказались в той части подземного царства, где находились жилища философов и риторов. Мой учитель, утомленный в равной мере и путешествиями, и умственным напряжением, стал просить проводников, чтобы я вместе с ним провел эту ночь в обители мудрецов, ибо мое отправление на землю было назначено на утро, а ему суждено оставаться здесь вечно. Далее было по слову поэта:

*Прочие боги, равно как и мужи, бойцы
с колесницы,
Спали всю ночь, лишь меня не радовал сон
безмятежный.* [79]

Охваченный жаждой как можно больше узнать о царстве мертвых, я не спал ночь напролет, наблюдая за всем, что происходило вокруг.

XLIII. Я видел Парменида, Пифагора, Мелисса, Анаксагора, Фалеса [80] и других учредителей философских школ; все они спокойно сидели рядом, мирно и без споров беседовали друг с другом, обсуждая какие-то философские вопросы. Только Диогена [81] все с отвращением сторонились и не допускали в свое собрание, так что он без устали ходил из стороны в сторону и вследствие своего необузданного и дерзкого нрава готов был сцепиться с первым встречным. Я был также свидетелем того, как Пифагор резко оттолкнул Иоанна Итала, [82] желавшего примкнуть к этому сообществу мудрецов. «Отребье, — сказал он, — надев на себя галилейское одеяние, которое у них зовется бо-жественными святыми ризами, иначе сказать, приняв крещение, [83] ты стремишься общаться с нами, чья жизнь была отдана науке и познанию? Либо скинь это вульгарное платье, либо сейчас же оставь наше братство!» Иоанн не пожелал расстаться со своим одеянием. За ним по пятам следовал похожий на евнуха человек, скорее всего шут, очень остроумный и бойкий на язык, который в каждого встречного стрелял своими ямбами. [84] Был он, впрочем, совершенной пустышкой, хотя хвастал бог знает чем, обманывая невежественную толпу. Если б пришлось встретиться с ним, ты не нашел бы в нем ни зернышка мудрости и ни капли приятности. Казалось, этот человек целиком усвоил нрав своего учителя — тот ведь такой же завистливый, злоречивый, легкомысленный и так же любит пускать пыль в глаза, а вдобавок к тому обладает еще и другими пороками, обычно сопутствующими перечисленным.

XLIV. В аиде Иоанн нашел храбреца; стоило ему только, проходя мимо собаки Диогена, [85] чья дерзость тут значительно увеличилась, пустить в ход свое обычное хвастовство, как он негаданно поплатился самым жестоким образом. Диоген, не стерпев кичливости Иоанна, накинулся на него с лаем и рычанием, как злой пес; тот в свою очередь обляял Диогена, так как сам принадлежал к школе киников, и в результате они сцепились. Иоанн зубами впился Диогену в плечо, а тот сдавил ему горло и наверняка задушил бы, если б римлянин Катон, [86] попавший в общество философов, не вырвал его из пасти противника. «Ничтожество, — крикнул Диоген, — сам Великий Александр, целой Азией управлявший, как собственным поместьем, подойдя ко мне в Коринфе, когда я грелся на солнце,

держался со мной робко и почтительно.[87] А ты, константинопольское отребье, ненавистный даже своим галилеянам,[88] осмеливаешься говорить со мной кичливо?! Клянусь кинической философией, отцом которой я признан, если ты еще раз осмелишься заговорить со мной, придется тебе вторично в мучениях подохнуть и быть погребенным». Тут Катон взял Иоанна за руку и увел далеко прочь; когда они достигли пределов, населенных софистами и риторам, те вскочили со своих мест и стали швырять в него камнями, крича: «Убери его, Катон! Нам он совершенно чужд, так как за всю свою жизнь не достиг ничего в грамматике, а писания его были общим посмешищем». Под градом столь тяжелых оскорблений Иоанн застонал и бросился бежать. «О, Аристотель, Аристотель, — взывал он, — где вы, силлогизмы и ухищрения диалектики? [89] Если бы вы сейчас пришли мне на помощь, я бы наголову разбил здешних ничемных философов и софистов и прежде всего этого грязного пафлагонского свинопаса, Диогена».

XLV. Между тем вернулся давешний софист из Византия и приблизился к философам; его встретили радостно: «Привет тебе!» — слышалось со всех сторон. Несмотря на это, он разговаривал с ними стоя, и ни философы не приглашали его сесть, ни сам он этого не делал. Софисты же, когда византиец перешел к ним, оказывали ему большие почести: все, как один, встали при его появлении. Когда византиец уставал, он либо садился тут же, в их кругу, либо покоился на возвышении, в кресле, которое ему приносили. Все восхищались прелестью и сладостью его речей, ясностью и простотой слога, плавностью манеры и умением так подбирать слова, чтобы они соответствовали и приличествовали какому угодно содержанию. Часто софисты повторяли «О, светозарный император!». Это, оказывается, как я узнал из расспросов, были первые слова его речи, обращенной к императору.[90]

Кидион: Что же, милый Тимарион, неужели ты больше ничего не расскажешь о своем учителе из Смирны? Как к нему относился синедрион философов?

Тимарион: С этими блистательными основателями школ, друг мой, Феодор почти не общался, если не считать его редких вопросов о положениях какого-нибудь учения. Обычно он беседовал с риторам и софистам — Полемоном, Геродом и Аристидом.[91] С ними, как с земляками, он держался без робости и беседовал непринужденно; он сразу шел к ним, лишь только появлялся, а они спрашивали его суждение касательно всяких риторических фигур описаний и других тонкостей своего искусства.

XLVI. Все это, друг мой, я узнал за ту летнюю ночь, которую провел вместе со служителями судилища и Феодором.[92] Они, за поздним часом, предавались сну, тогда как я все время посвятил наблюдениям. Наутро мой софист подошел и стал торопить меня: «Скорее собирайся, дражайший Тимарион, чтобы отправиться на землю. Знай, что за многие годы никому другому из умерших не случилось оживать. Смотри только, не забудь прислать всего, на что меня тянет».

«С большим удовольствием, — отвечал я, — пошлю все, что могу. Говори, чего тебе хочется, чтобы я мог тебе угодить; перечисли все.

«Пошли мне, милый, пятимесячного ягненка, парочку жирных трехгодовалых куриц, какими торгуют в птичьих рядах на рынке, и у которых корм, благодаря искусству людей, задававших его, толстым слоем откладывается на ножках; пошли также молочного поросеночка не старше месяца и вымя молодой свиньи, как можно более жирное и сочное».

Тут Феодор заключил меня в объятия и на прощание сказал: «Счастливого пути, возвращайся на землю! Скорее добираться домой, пока слух о твоей смерти не дошел до Византия и все близкие и друзья не успели оплакать твою гибель, а ведь любящих тебя, помнится, много». После этого я с ним расстался, и мы, не теряя времени, пустились в путь, нигде больше не задерживаясь. Слева от дороги я успел, однако, заметить Филарета из Армении, Александра из Фер и злодея Нерона,[93] копавшегося в куче человеческого навоза, зловоние которого достигало моего носа. Вскоре мы дошли до устья ведущего в ад колодца, беспрепятственно поднялись по нему наверх, и глазам моим предстали Плеяды и Большая Медведица.

XLVII. Я был теперь в недоумении, куда держать путь, чтобы найти свое тело, но неся по воздуху, словно подхваченный ветром, пока не достиг берега реки и не узнал гостиницу, где лежал мой труп.

Здесь, на берегу Гебра, я распрощался со своим провожатым, покинул его и сквозь отверстие в крыше, куда уходит дым очага, попал в дом. Приникнув к своему телу, я вновь вошел в него через ноздри и рот. Оно совершенно застыло из-за холода и смертельного оцепенения, так что этой ночью я думал, что совсем замерзну. Наутро, быстро собрав свои вещи, я отправился в Византий.

И вот, целый и невредимый, милый Кидион, я рассказываю тебе свои приключения. А ты окажи мне услугу — найди еще не погребенных покойников, которым можно было бы отдать заказанные мне Феодором лакомства, чтобы переправить их моему учителю. Не надо только приличных людей, привыкших к чистоте и опрятности, которым такое поручение, вероятно, было бы противно; выбери каких-нибудь грязных пафлагонцев с рынка, за честь почтущих спуститься в аид с куском свинины под мышкой. Однако уже пора спать. Давай, мой любознательный друг, распрощаемся и отправимся по домам.

*Воспроизведено по изданию: Тимарион // Византийский сатирический диалог. - Л.: Наука, 1986.
Перевод со среднегреческого С.В. Поляковой и И.В. Феленковской.*